

ВИЛЛИ С МЕЛЬНИЦЫ

РАВНИНА И ЗВЕЗДЫ

Мельница, где жил Вилли со своими приемными родителями, стояла на склоне долины, среди сосновых лесов и горных вершин. Горы громоздились над мельницей, взмывали вверх из чащи темного леса и, обнаженные, рисовались на фоне неба. Высоко на лесистом склоне лежала длинная серая деревня, подобная шву или полосе тумана, а при ветре с гор звон церковных колоколов капля по капле доходил и до Вилли, тоненький и серебристый. Ниже долина становилась все круче и круче, в то же время расширяясь в обе стороны; и с пригорка возле мельницы можно было видеть ее во всю длину, а за ней — широкую равнину, где река изгибалась, сверкала и текла от города к городу, направляясь к морю. Выше лежал переход в соседнее государство, и, как ни была тиха эта сельская местность, дорога, пролежавшая рядом с рекой, была оживленным средством сообщения между двумя блестящими и могущественными обществами. Все лето дорожные экипажи взбирались в гору или быстро мчались вниз мимо мельницы, но другой склон был гораздо легче для подъема, так что по этой тропе редко кто ездил, и из каждых шести карет, какие проезжали мимо Вилли, пять быстро мчались вниз по склону и только шестая ползла вверх. Еще чаще так бывало с пешеходами. Все туристы, путешествовавшие налегке, все бродячие торговцы, нагруженные заморскими товарами, направлялись вниз, подобно реке, сопрово-

ждавшей их по пути. И это не все: когда Вилли был еще ребенком, гибельная война охватила почти весь мир. Газеты были полны вестей о поражениях и победах, земля дрожала от топота конницы, а иногда целыми днями и на много миль в окрестности шум битвы спугивал добрых людей, работавших в поле. Долгое время ни о чем этом не слышно было в долине, но под конец один из военачальников провел свою армию через горный перевал форсированным маршем, и в течение трех дней кавалерия и пехота, пушки и двуколки, барабаны и знамена потоком лились мимо мельницы вниз с горы. Весь день мальчик стоял и смотрел на проходящие мимо войска: мерный шаг, бледные, давно не бритые лица, загорелые скулы, полинялые мундиры и рваные знамена заражали его чувством усталости, вызывая жалость и удивление; и всю ночь напролет, когда он уже лежал в постели, ему слышно было громы пушек и топот ног, движение большой армии вперед и вниз мимо мельницы. Никому в долине так и не пришлось ничего услышать о судьбе этой военной экспедиции: в эти тревожные времена сюда не доходили никакие слухи, но Вилли ясно понял одно: что ни один человек не вернулся. Куда же все они исчезли? Куда уходили все туристы и бродячие торговцы с заморскими товарами? Куда девались быстрые кареты с лакеями на запятках? Куда уходила вода реки, вечно стремящаяся вниз и снова приходящая сверху? Даже ветер чаще всего дул сверху вниз, унося с собой увядшие листья осенью. Это казалось ему великим заговором: все одушевленное и неодушевленное устремлялось вниз, быстро и весело устремлялось вниз, и только он один, казалось ему, оставался позади, словно колода при дороге. Иногда он радовался даже тому, что рыбы стоят головой против течения. Они по крайней мере были ему верны, тогда как все остальное мчалось вниз, в неведомый мир.

Однажды вечером он спросил мельника, куда течет река.

— Она течет по долине вниз, — ответил тот, — и вертит колеса многих мельниц: говорят, их больше сотни отсюда до Андердека, — и нисколько от этого не устает. А дальше она течет по низине и орошает обширную область, где сеют хлеба, проходит через множество красивых городов (так говорят), где одни-одинешеньки в огромных дворцах живут короли, а перед дверями у них расхаживают взад и вперед часовые. Она протекает под мостами, а на мостах стоят каменные люди и с любопытной улыбкой засматривают в воду, и живые люди тоже глядят в воду, опершись локтями на перила. А река течет все дальше и дальше, через болота и пески, пока наконец не впадает в море, где плавают и корабли, что привозят из Индии попугаев и табак. Да, долгий путь лежит перед нею, после того как она с пением перельется через нашу плотину, благослови ее бог!

— А что такое море? — спросил Вилли.

— Море! — воскликнул мельник. — Помилуй нас, боже, это самое великое из того, что сотворил Господь! Ведь это в него течет вся вода, какая только есть на земле, и сливается в большое соленое озеро. Так оно и лежит, ровное, как моя ладонь, и с виду невинное, как младенец; но говорят, что, если задует ветер, на нем поднимаются водяные горы, выше всех наших гор, и они топят большие корабли — куда больше нашей мельницы, и так режут, что этот рев слышно на суше за много миль от берегов. В нем живут огромные рыбы, впятеро больше быка, а еще древний змий длиной в нашу реку и старый как мир, с усами, словно у человека, и с серебряной короной на голове.

Вилли подумал, что никогда еще не слыхивал ничего похожего, и стал расспрашивать мельника про тот мир, который лежал внизу по берегам реки, со всеми его опасностями и чудесами, а старый мельник оживился

и сам и в конце концов взял мальчика за руку и повел на возвышенность, господствовавшую над ущельем и равниной. Солнце близилось к закату и стояло низко на безоблачном небе. Все вокруг было облитое золотым сиянием. Вилли еще никогда в жизни не видел такого широкого простора — он стоял и смотрел во все глаза. Ему были видны города, леса и поля, сверкающие изгибы реки и вся даль до той черты, где край равнины сходил с блистающими небесами. Непреодолимое волнение овладело мальчиком, его душой и телом, сердце забилося так сильно, что он не мог дышать, все поплыло у него перед глазами: ему казалось, что солнце крутится колесом и, вращаясь, отбрасывает странные тени, исчезающие с быстротой мысли и сменяющиеся другими. Вилли закрыл лицо руками и разразился бурными рыданиями, а бедняга мельник, страшно растерявшись и встревожившись, не придумал ничего лучше, как взять его на руки и молча унести домой.

Начиная с этого дня мальчик преисполнился новых надежд и стремлений. Что-то все время задевало струны его сердца. Когда он предавался мечтам над стремительной гладью реки, вслед за бегущей водой уносились его желания, ветер, пробежавший по бесчисленным верхушкам деревьев, манил его; ветви кивали ему, словно указывая вниз; открытая дорога, огибая бесчисленные углы и повороты, все быстрее и быстрее спускалась по долине и пропадала из виду, неотступно маня его за собой. Он подолгу сидел на возвышенности, глядя вниз по течению реки и еще дальше, на плоские низины; следил за облаками, странствующими на крыльях медлительного ветра и влачащими лиловые тени по равнине; а не то он застаивался у дороги, провожая глазами кареты, с грохотом катившиеся вниз по берегу реки. Что это было — не имело значения; но, что бы ни уходило туда, будь то облако или карета, птица или

темная вода потока, сердце его восторженно рвалось вслед за ними.

Ученые люди говорят, будто причина всех приключений моряков, всех переселений племен и народов на суше не что иное, как простой закон спроса и предложения и вполне естественный инстинкт, который ищет более дешевой жизни. Всякому, кто способен вдуматься глубже, это объяснение покажется жалким и неумным. Племена, пришедшие толпами с Севера и Востока, если их и вправду гнали вперед другие племена, наступавшие сзади, испытывали в то же время магнетическое влияние Юга и Запада. Слава иных стран дошла до них; имя вечного города звучало в их ушах, они были не колонизаторы, а пилигримы; они влеклись к вину, золоту и солнцу, но сердца их искали чего-то высшего. Это божественное беспокойство, эта древняя жгучая тревога человечества, создавшая все высокие достижения и все горестные неудачи, та, что расправляла крылья вместе с Икаром, та, что послала Колумба в пустыню Атлантического океана, — она же вдохновляла и поддерживала варваров в их опасном походе. Есть одна легенда, глубоко выражающая дух пилигримов, — легенда о том, как летучий отряд этих странников повстречал дряхлого старика, обутого в железные башмаки. Старик спросил, куда они идут, и ему дружно ответили: «В Вечный город!» Он посмотрел на них строгим взглядом:

— Я искал его по всему свету. Три пары таких башмаков, какие и сейчас на мне, я изнасил в этих странствиях, и теперь четвертая изнашивается на моих ногах. И за все это время я так и не нашел Вечного города.

Он повернулся и один побрел своей дорогой, они же стояли в изумлении.

И все же эта легенда едва ли могла сравниться для Вилли с силой его стремления к равнине. Если б он только мог спуститься туда и зайти подальше, его зрение, казалось ему, очистилось бы и прояснилось,

слух обострился бы, и даже дышать стало бы для него наслаждением. Здесь он захирел, как пересаженное растение: он жил на чужбине и тосковал по родине. Мало-помалу он собрал обрывочные сведения о мире, простиравшемся внизу; о реке, вечно движущейся и становившейся все шире и наконец вливавшейся в величавый океан; о городах, где много прекрасных людей, журчащих водометов, оркестров и мраморных дворцов, где целыми ночами горят от края до края искусственные золотые звезды; о больших церквах; о полных премудрости университетах; о доблестных войсках и несчетных сокровищах, нагроможденных в подвалах; о надменном пороке, не боящемся дневного света; о молниеносной быстроте полуночных убийств. Я уже говорил, что он тосковал, словно по родине — это сравнение остается в силе. Он походил на человека, пребывающего в расплывчатых сумерках, в преддверии бытия и простирающего руки к многоцветной и многозвучной жизни. Не удивительно, что он несчастлив, говорил он, бывало, рыбам: рыбы созданы для такой жизни, им ничего не надо, кроме червяков, и быстро-текущей воды, да норы под осыпающимся берегом; но он устроен по-другому, полон желаний и надежд, руки у него чешутся, глаза разбегаются, и одним лицезрением пестроты этого мира он довольствоваться не может. Настоящая жизнь, настоящее яркое солнце — далеко внизу, на равнине. О, если б увидеть этот солнечный свет хотя бы раз; ликуя, пройти по золотой стране; услышать искусных певцов и мелодичный звон церковного колокола; увидеть праздничные сады! «И, о рыбы! — восклицал он. — Если б вы только могли повернуть носы вниз по течению, вам легко было бы доплыть до тех сказочных вод, и увидеть, как большие корабли проходят у вас над головой, подобно облакам, и весь день слышать музыку водяных громад, гремющую над вами». Но рыбы по-прежнему терпеливо глядели

в свою сторону, так что в конце концов Вилли сам не знал, плакать ему или смеяться.

До сих пор движение на дороге воспринималось Вилли как нечто увиденное на картине; быть может, он обменивался поклонами с туристами или в окне кареты мельком замечал старика в дорожной фуражке, но по большей части это был просто символ, на который он глядел только со стороны и даже с каким-то суеверным чувством. В конце концов пришло время, когда все это должно было перемениться. Мельник, который был в какой-то мере человек корыстный и никогда не упускал случая нажиться честным образом, превратил мельницу в маленькую придорожную харчевню, а когда несколько удачных случаев помогли ему, построил при ней конюшню и добился места почтмейстера на этой дороге. Теперь обязанностью Вилли было прислуживать людям, когда они садились закусывать в маленькой беседке в саду при мельнице; и можете быть уверены, что, принося им вино или омлет, он внимательно прислушивался к разговорам и узнал многое о мире. Мало того, он даже вступал в разговор с гостями-одиночками и ловкими вопросами и вежливым вниманием не только утолял свое любопытство, но и завоевывал расположение путешественников. Многие поздравляли стариков с таким слугою; а один профессор хотел даже увезти его с собой на равнину и дать ему настоящее образование. Мельник с женой очень этому удивились и еще больше обрадовались. Как хорошо, думалось им, что они открыли такую гостиницу!

— Видите ли, — замечал старик, — у него талант — быть трактирщиком, он просто не мог бы стать кем-то другим!

И так шла эта жизнь в долине, и все живущие в ней были ею очень довольны, — все, кроме Вилли. Каждая карета, отъезжавшая от дверей гостиницы, казалось, увозила с собой какую-то часть его самого, и, когда люди

в шутку предлагали подвезти его, он с трудом подавлял волнение. Ночь за ночью ему снился один и тот же сон: встревоженные слуги будят его, и великолепная карета ждет у дверей, чтобы увезти его на равнину, — ночь за ночью, пока этот сон, сначала казавшийся ему светлым и радостным, не начинал омрачаться и ночной зов и приехавшая за ним карета не становились чем-то таким, чего надо было и страшиться и ждать с надеждой.

Однажды, когда Вилли было лет шестнадцать, на закате солнца в харчевню приехал толстый молодой человек и остался ночевать. Вид у него был довольный, глаза веселые, за спиной висел рюкзак. Пока готовили обед, он уселся в беседке читать книжку, но, как только заметил Вилли, отложил книгу в сторону; он был явно из тех, которые предпочитают живых собеседников бумаге и чернилам. Вилли, со своей стороны, хотя и не слишком заинтересовался путником с первого взгляда, скоро испытал немалое удовольствие от его речей, доброжелательных и полных здравого смысла, а под конец почувствовал и уважение к его характеру и учености. Они просидели далеко за полночь, и около двух часов утра Вилли открыл молодому человеку свое сердце и рассказал, как ему хочется уйти из долины и какие пылкие надежды связаны у него с городами на равнине. Молодой человек свистнул и заулыбался.

— Мой юный друг, — заметил он, — ты, конечно, очень занятный человечек и хочешь очень многого такого, чего никогда не получишь. Да ведь тебе стало бы попросту стыдно, если б ты знал, как мальчишки в этих твоих сказочных городах гонятся за тем же вздором, что и ты, и стремятся в горы, надрывая из-за этого сердце. И позволь мне сказать тебе: тому, кто попадет на равнину, очень скоро захочется снова вернуться в горы. Воздух там не такой легкий и чистый, как здесь, — и солнце там не ярче. А твои красивые люди, мужчины и женщины, как ты сам увидишь, ходят

в отрешках, а многие из них изуродованы ужасными болезнями; и в городе так нелегко жить людям бедным и слишком чувствительным, что многие предпочитают покончить с собой.

— Вы, должно быть, считаете меня простаком, — отвечал ему Вилли. — Хотя я не бывал нигде, кроме нашей долины, поверьте мне, я вовсе не слеп. Я знаю, что одни твари живут на счет других: рыбы, например, подстерегают в заводи себе подобных, а пастух, который так живописно несет домой ягненка, только для того и несет его, чтобы зарезать на обед. Я вовсе не думаю, что в ваших городах все окажется хорошо и правильно. Не это меня смущает: может, так и было когда-нибудь, но я, хоть и прожил здесь всю свою жизнь, о многом расспрашивал и многое узнал за последние годы — узнал довольно, чтобы излечиться от моих прежних фантазий. Но вы же не хотите, чтоб я издох как собака, не увидев всего, что нужно увидеть, не сделав всего, что человеку должно сделать, будь то хорошее или дурное? Вы не хотите, чтоб я провел всю жизнь здесь, между этой вот дорогой и рекой, даже не сделав попытки воспрянуть духом и начать жить? Лучше покончить с собой, чем и дальше топтаться на месте, как сейчас! — воскликнул он.

— Тысячи людей живут этой жизнью, как и ты, и обычно они бывают счастливы, — заметил молодой человек.

— Ах! — сказал Вилли. — Если желающих так много, то почему бы одному из них не занять мое место?

Стало совсем темно; в беседке висела лампа, освещая стол и лица собеседников, и по всему своду беседки листья, облитые светом, выделялись на ночном небе узором прозрачной зелени на темно-лиловом фоне. Толстый молодой человек встал и, взяв Вилли за плечо, вывел под открытое небо.

— Смотрел ли ты когда-нибудь на звезды? — спросил он, указывая на небо.

— Очень и очень часто, — ответил Вилли.
— А ты знаешь, что такое звезды?
— Я их представляю по-разному.
— Это миры, такие же, как наш, — сказал молодой человек. — Одни из них меньше нашего, другие — в миллион раз больше; а некоторые из крохотных искорок, едва видных тебе, не только миры, но целые рои миров, кружащихся в пространстве один вокруг другого. Мы не знаем, что там; может быть, там есть и ответ на все наши неразрешенные вопросы или средство избавить нас от страданий, однако нам никогда до них не добраться; никакое искусство первейших умельцев не сможет снарядить и отправить корабль к ближайшему из наших спутников, да и жизни самых долговечных из нас не хватит на такое путешествие. Проиграно ли большое сражение, умер ли наш лучший друг, погружены ли мы в уныние или торжествуем, они все так же неумолимо сияют над нами. Мы можем стоять здесь внизу, собравшись хоть целой толпой, и кричать, покуда не разорвется сердце, а до них все же не дойдет ни звука. Мы можем взобраться на самую высокую гору — и все-таки не станем к ним ближе. Все, что нам доступно, — это стоять здесь, в саду, сняв шляпу; звездное сияние льется на наши головы, и там, где у меня небольшая лысина, ты, я думаю, можешь заметить светлое пятно в темноте. Гора и мыш. Это, кажется, все, что у нас есть или будет общего с Арктуром или Альдебараном. Понятна ли тебе эта притча? — прибавил он, кладя руку на плечо Вилли. — Это не то же, что довод, но обычно действует гораздо убедительнее.

Вилли сначала повесил было голову, потом снова поднял ее к небесам. Звезды казались теперь как будто крупнее, лучи их — острее и ярче; а когда он вглядывался все пристальнее и пристальнее в вышину, то их число словно множилось под его взглядом.

— Я понимаю, — сказал он, оборачиваясь к молодому человеку. — Мы словно в мышеловке.

— Да, похоже на это. Видел ты, как одна белка крутится в колесе, а другая сидит и философски грызет орехи? Нечего и спрашивать, которая из них покажется тебе глупее.

ПАСТОРОВА МАРДЖОРИ

Через несколько лет старики умерли, оба в одну и ту же зиму; приемный сын очень заботливо ухаживал за ними и очень тихо горевал о них, когда их не стало. Люди, знавшие о его тяге к путешествиям, думали, что он поспешит продать все имущество и пустится вниз по реке на поиски счастья. Но он ничем не проявил такого намерения. Напротив, он ввел кое-какие улучшения в гостинице, нанял двоих слуг себе в помощники и зажил хозяином — любезный, разговорчивый и непонятный молодой человек, шести с лишком футов ростом, с железным здоровьем и приветливым голосом. В скором времени он начал приобретать славу какого-то чудака; удивляться этому не стоило, ведь и всегда у него были странные понятия и сомневался он даже в самых обычных вещах; но всего больше пошло о нем разговоров из-за пасторовой Марджори, за которой он ухаживал.

Пасторова Марджори была девушка лет девятнадцати, в то время как Вилли было уже под тридцать; довольно хорошенькая и гораздо лучше воспитанная, чем другие девушки в этой части страны, как ей и подобало по происхождению. Она держала себя очень гордо и успела уже с надменностью отказать нескольким женихам, за что соседи ее строго осудили. При всем том она была хорошая девушка, такая, которая могла осчастливить любого мужчину.

Вилли очень редко с ней виделся; хотя церковь и пасторский дом стояли всего в двух милях от его усадьбы, он ходил туда только по воскресеньям. Случилось, од-

нако, что пасторский дом обветшал, и его понадобилось переделывать и ремонтировать, а пастор с дочкой сняли на месяц или около того помещение в гостинице Вилли за весьма умеренную плату. Наш друг был теперь человек состоятельный; у него была гостиница, мельница да сбережения старого мельника; кроме того, он славился хорошим, ровным характером и практическим умом, что в браке значит немало; и недоброжелатели стали судачить, что пастор с дочкой знали, что делали, выбирая себе временное жилье. Вилли был вовсе не такой человек, чтоб его можно было заманить или запугать и заставить жениться. Стоило только взглянуть ему в глаза, прозрачные и спокойные, словно озера, и все же светившиеся изнутри ясным светом, и сразу становилось понятно, что перед вами человек, который знает, чего хочет, и будет твердо стоять на своем.

Марджори и сама была отнюдь не робкого десятка, с уверенным, твердым взглядом и решительными, спокойными манерами. В конце концов было неизвестно, у кого тверже характер и кто из них в супружестве станет верховодить. Но Марджори даже и не задумывалась об этом, а сопутствовала отцу без всякой задней мысли. Сезон еще только начинался, и гости к Вилли наезжали редко, но сирень уже цвела, а погода стояла такая мягкая, что обедали в беседке, и река шумела у них в ушах, и леса вокруг звенели птичьими песнями. Вилли вскоре начал испытывать особое удовольствие от таких обедов. Пастор был довольно скучным собеседником, имея привычку дремать за столом; но от него нельзя было услышать грубого или недоброго слова. А что до пасторской дочки, то она применилась к новой обстановке с таким тактом, какой только можно вообразить, и все, что она говорила, было так мило и кстати, что Вилли возымел самое лестное мнение о ее талантах. Когда она наклонялась вперед, он видел ее лицо на фоне соснового леса, глаза ее тихо сияли, свет, словно вуалью, окружал

ее волосы, ямочки на бледных щеках создавали некое подобие улыбки, и Вилли не мог не заглядываться на нее в приятном смущении. Даже в самые спокойные свои минуты она казалась такой цельной и полной жизни до кончиков пальцев, что все остальные выглядели по сравнению с ней просто неживыми; и если Вилли, отводя от нее глаза, взглядывал на все, что ее окружало, деревья казались ему неодушевленными и бесчувственными, облака висели в небе как мертвые и даже вершины гор теряли свое очарование. Вся долина не могла выдержать сравнения с этой одной девушкой.

В обществе себе подобных Вилли всегда бывал наблюдателен, но его наблюдательность обострялась почти болезненно в присутствии Марджори. Он вслушивался в каждое ее слово и старался прочесть в ее глазах то, что оставалось невысказанным. Много простых, добрых и искренних слов находили отклик в ее сердце. Он начинал понимать, что перед ним душа, прекрасная в своей уравновешенности, не ведающая ни сомнений, ни желаний, облеченная в спокойствие. Невозможно было отделить ее внутренний мир от ее внешности. Движение руки, тихий голос, свет ее глаз, линии тела звучали согласно с ее серьезной и кроткой речью, словно аккомпанемент, который поддерживает голос певца и гармонически сливается с ним. Ее влияние следовало воспринимать как нечто единое, благодарно и радостно, не судя и не анализируя. Ее облик напоминал Вилли что-то из времен детства, а мысль о ней становилась в один ряд с мыслью об утренней заре, о журчащей воде, о ранних фиалках и сирени. Таково свойство вещей, увиденных впервые или впервые после долгого забвения, как цветы весной, — пробуждать в нас остроту чувств и то впечатление таинственной новизны, которое без этого с годами уходит; но созерцание любимого лица — вот что обновляет человека, возвращая его к истокам жизни.